

Арсений ЖИЛЯКОВ

У ИСТОКОВ ЖИЗНИ

(ГЛАВЫ О ДЕТСТВЕ)

ПЕРВОЕ ГОРЕ

Чесноковский колок, длинный, казавшийся Кирилке бесконечным, с трех сторон примыкал к селу Кукарцеву, придвигал его к обрывистому берегу озера, сверкающей гладью уходившего куда-то далеко к востоку, и как будто отгораживал столетнюю деревню от всего мира. И те люди, что жили, вероятно, по ту сторону леса, по догадкам Кирилки, были какие-то неведомые великаны, совсем не похожие на тятку и мамку, на дядю Прокопия, на тетку Матрену и вообще на всех, кто окружал его с того дня, когда Кирилка стал помнить себя.

Чесноковский колок давно, еще с самого раннего детства, сильно интересовал и в то же время пугал Кирилку. Ему казалось, что если пройти в глубь леса версту или больше, то встретится что-нибудь невиденное, быть может — красивое, как сказки бабушки Агафьи, а быть может, — такое страшное, от чего придется далеко-далеко убежать...

Другой берег озера, терявшийся где-то там, на востоке, откуда по утрам выплывает огромное солнце, представлялся Кирилке таким же далеким, как и край неба, на который, по рассказам бабушки, кладут на ночь прятки.

И когда Кирилка уже боронил на Гусихе, ближней дедовской пашне, Чесноковский колок, через реденькие осинники и сильно вырубленные по межам березняки, мрачно, как будто даже угрожающе, по целым дням смотрел на

Кирилку, и он не замечал, как из губ, потрескавшихся на сухом и холодном весеннем ветру, сочилась кровь, а кожа на лице, как береста, коробилась и шелушилась.

Все внимание, все помыслы Кирилки тянулись к Чесноковскому колку, такому близкому, манящему и — таинственному.

Рано утром, когда и трава на межах, и бороны, впившиеся в рыхлую землю, были еще смочены росой, с опушки Чесноковского колка доносилось звяканье ботала — отчетливо, мелодично, как доносится каждый звук на заре. Там же, где-то далеко и вместе с тем близко, иступленно токовал косач, будто отплевывался от чего-то с сердитым урчаньем. Позднее, когда всходило солнце, где-то уже совсем близко, как будто вот тут, позади шалаша, начинала звонко высвистывать ивогла. Яркие лучи солнца золотили вершины трепетных осинок и грустно-задумчивых берез, гнали из леса седые струи тумана, растилававшие над пашней длинными, чуть-чуть колеблющимися полосами, и Кирилке казалось, что кто-то там, в Чесноковском колке, теперь уже встал и, наверное, умывается: оттого и пар...

Пока Кирилка боронил с отцом на своей пашне, его не посылали в лес, и он хорошо знал только кусты да осинники, окружавшие шалаш. Он еще не мог поймав и распутать лошади, не мог без помощи взрослых взобраться на седло — его еще подсаживали и снимали с верш-

ны. Но когда он сидел верхом, то уже чувствовал себя большим и видел далеко — дальше кустов смородины и даже черемухи, что росли за шалашом.

Нынешней весной Кирилка был на целый год старше и уже самостоятельно влезал Игреньке на вершну, и только пользовался при этом или пнем, или колесом телеги. И уже гордился этим. Уже смело подергивал поводья и властной рукой молодого хозяина заставлял повиноваться себе старого смиренного Игреньку.

Но в эту же весну на голову Кирюшки свалилось горе, первое горе, выдавившее из синих глазенок первые слезы отчаяния.

У отца Кирилки сев в эту весну был маленький. Два года подряд случился недород, и не хватило семян. Поэтому Кирилкин отец решил нынче боронить сам, на поводу, а Кирилку отдал в борноволокни к богатому дяде Прокопию.

И здесь Кирилка впервые узнал, что дядя Прокопий не так уж добр, как казалось раньше, и что лошади не все уж так смиренны, как смирен Игренька или Карюха. Здесь снова пришлось пользоваться обидным для Кирилкина самолюбия подсаживаньем на вершну. Притом руки у дяди Прокопия, в особенности у сына его, Поликарпа, были куда тверже, чем у отца или старшей сестры, и больно сдвигали бока.

С первых же дней жизни в чужих людях Кирилка убедился, что здесь за чем-то раньше встают и едят меньше, и не так сладко, как недавно еще было у мамки, а боронят на пятерых лошадях, которые часто заступают в построжки и, как на зло, путаются на заворотах. И чилизен он стал делать как будто больше, чем на домашней пашне. И тут еще Поликарп, который стоял на меже и чистил бороны на заворотах, постоянно грозился отстегать обротью, если будут чилизны...

Боронил Кирилка и все думал. Думал о том, что тятка после того, как умерла мамка, стал «нужным», а дядя Прокопий — богатый, и потому сердитее. Думал еще о том, что когда вырастет большой, то не будет боронить на пятерых, а только на Игреньке да на Карюхе. И когда станет сам тяткой, а у него будет боронить такой же маленький Кирилка, как он вот теперь, то даст ему теплую шубейку, чтоб не так продувал ветер. И рано тоже будить не будет, а в павжну даст поспать часок под телегой...

А уж Чесноковский-то колок весь исходит и изъездит — чего бояться большому-то...

Раздумавшись снова о Чесноковском колке, Кирилка уехал далеко в сторону и сделал огромную чилизну.

— Я те, варначонок вислоухий! Я те, воронье пужало! Вот погоди уж! — орал на меже Поликарп и сердито тыкал в землю суковатыми вилами.

В этот вечер, когда выпрягли лошадей, Кирилка в первый раз попробовал дядиной оброты... И когда укладывался с Поликарпом спать в пашенном шалаше, впервые почувствовал горечь собственных слез, которые надо проглатывать тайком, а не реветь открыто, как при мамке.

Утром Поликарп опять разбудил его рано — ни свет ни заря. Собрав оброты, он отбросил одну и сказал Кирилке:

— На, иди за Пеганком... Он имкой, не бойсь. Вон там, слышишь ботало-то?

Ботало редко и слабо позвякивало где-то как будто близко, но — там, у Чесноковского колка, дальше знакомых кустов. И Кирилка забоялся было, взял оброть и не шел, но Поликарп, уже сердясь, крикнул:

— Ну! Чего стал, пужало!

Кирилка побрел в кусты и, оглядываясь, заметил, что Поликарп пошел совсем в другую сторону. Тоскливо стало Кирилке, и шел он едва передвигая ноги. Но боязнь перед Поликарпом была еще больше, воспоминание о вчерашней оброты — еще слишком свежо, и Кирилка, осторожно оглядывая каждый куст и часто останавливаясь, чтобы прислушаться к звяканью ботала, все же двигался вперед.

Утро было ясное, безоблачное, и Кирилке казалось — скоро взойдет солнце. Но холод еще больше щипал щеки и руки, и сквозь дырявые сапожонки к онучам уже просачивалось мокро от травы. А тут еще березы пошли все высокие да густые — не видать неба!

Ботало, то звонко, то приглушенно, все позвякивало, и, казалось, вот-вот покажется Пеганка. И Кирилка робко позвал его:

— Пррсё, пррсё!

Но губы и от холода, и от страха едва шевелились, и Кирилка сам не услышал своего зова.

— Поликарп, Поликарп! — сквозь слезы, звонко закричал он. В ответ слышалось ржанье Пеганки, и Кирилка,

ободренный близостью его, побежал на голос.

Пеганка доверчиво подпустил Кирилку к себе и зачем-то прикоснулся к его спине толстыми жующими губами, когда тот склонился к путам. Путы, сильно намокшие, затвердели, и толстый узел не вывертывался из петли. Туго закрученные с вечера, когда были сухими, они теперь до того плотно облегали под щетками ноги лошади, что, казалось, врезались в мясо. И сколько Кирилка ни бился с ними, ломая ногти, узел не сдвигался с места и петля крепко держала его, точно в тисках. Кирилка заплакал, стоя перед Пеганкой на коленях. Старый мерин склонял к нему свою наполовину белую, наполовину рыжую морду и, словно ободряя Кирилку, осторожно обнюхивал его, шевелил толстыми морщинистыми губами и шумно дул из розоватых, с редкими волосами ноздрей.

Лес, огромный, не имевший для Кирилки краев; стоял кругом безучастно-молчаливо и скрывал от него самое небо. Слезы отчаяния, полной безнадежности, тяжкого, непоправимого горя грязными торочками текли по чумазому лицу Кирилки, и ему казалось, что теперь только Пеганка жалует его: большие черные-черные глаза тоже как будто мокры и часто мигают...

Кирилка долго выл, звал Поликарпа, а потом снова принимался бессильно царапать узел пут. Грыз их зубами, тянул обеими ручонками за середину, и Пеганка слегка приподнимал одну ногу, будто хотел помочь ослабить узел. Но Кирилка ничего не мог поделать и, горько плача, уже всхлипывал, как взрослый. И все стоял перед Пеганкой на коленях — как бы молил его помочь беде.

Свет сверху, там где-то, высоко-высоко меж ветвей, стал ярче и там же, сверху, зашелестел ветерок. Словно теперь только увидели березы Кирилкино горе и тихонько перешептываются о нем: или удивляются невиданному, или советуются — как выручить Кирилку из беды.

Глянув вверх, Кирилка вспомнил, что отец, когда бывает в поле, и когда нет божницы с иконами, становится лицом к той стороне, откуда всходит солнце, смотрит на небо и творит молитву. Кирилка также припомнил, что отец в молитвах часто поминает Миколу-святителя и все просит его помочь. И Кирилка, не вставая с колен, обернулся лицом в ту

сторону, откуда пришел, поднял вверх застланные слезами, теперь поблекшие, словно выцветшие, синеватые глаза и то-ропливо залепетал:

— Батюшка Микола... Угодничек... Помоги, вызволь меня... грешного... Свечку поставлю, когда вырасту... Большую, в रुपь... право, батюшка Микола!

— Помоги-и! — пискнул он, заканчивая молитву, и снова заплакал навзрыд.

Потом опять принялся за путы. По-прежнему они были твердые, туго намокшие. Из-за ногтей и из десен у Кирилки уже шла кровь, а он все ничего не мог поделать. И, как бы выплакав все слезы, молча безнадежно куксился, размазывая по лицу кровь.

Пеганка долго стоял с таким же безнадежным видом и терпеливо ждал. Но, видя, наконец, что освободиться от пут нет надежды, склонился к траве и, лениво пощипывая ее, сделал короткий скачок, чтобы передвинуться с места. Ботало гулко звякнуло, и Кирилка понял, где спасение.

Он подбежал к Пеганке и принялся отчаянно звонить боталом, чтобы услышал Поликарп.

Но когда Поликарп уже бежал лесом, окликая Кирилку, страх перед неизбежными побоями снова сжал сердце. И Кирилка уже не рад был, что Поликарп бежит на его зов. Уже хотел бы лучше остаться один на один с Пеганкой, таким добрым и смирным, или — убежать...

Подбежав ближе, Поликарп остановился и долго молча смотрел на Кирилкино лицо. Потом, все продолжая молчать, склонился к ногам Пеганки и твердыми пальцами, с широкими жесткими ногтями, в один прием вывернул из петли узел пут, и Пеганка свободно переступил ногами.

Затем Поликарп злобно ударил старое мерина путами по морде и, все еще продолжая молчать, повел его.

А Кирилке — ничего не сделал.

КИРИЛКИНА БЕДА

Отошло куда-то назад знойное, как солнечный сон, лето; осталась где-то позади, словно растаяла, студеная, с трескучими морозами и мглистыми буранами зима, и пришла новая, сверкнувшая другой, незнакомой еще улыбкой, весна.

Но и в эту весну у Кирилки было мало

радостного. Еще зимой в доме появилась мачеха, чужая, привезенная отцом из какого-то дальнего села, в котором живут, должно быть, только злые, ненавидящие друг друга люди...

Однажды Кирилка играл в палисаднике, когда его оклинула мачеха. От неожиданности и знакомого, всегда пугающего голоса он уронил сложенный им под кустом черемухи домик из палочек, вскочил, поддергивая синие холщовые штанишки, и боязливо-выжидательно уставился на раскрытое окно.

— Айда в избу, паршивец! Айда, тебе говорят! Ч-черт те надавал, углана паршивого! — кричала из окна мачеха и злобно трясла головой. На макушке у нее угрожающе качались торчком завязанные концы платка, рукава рубахи были засучены до локтей и запачканы в муке коричневые жилистые руки.

В палисаднике Кирилка чувствовал себя укрытым от всех невзгод и, заползая в самую гущу кустов, жил здесь по целым дням. Но зоркий, всегда сердитый взгляд серых глаз мачехи, опущенных шерстистыми белесыми бровями, нащупывал его и здесь, и резкий, с злым присвистом голос каждый раз заставлял Кирилку врасплох и тоскливою болью сжимал сердце.

С минуту Кирилка стоял притаившись.

— Может, забудет! — подумал он, когда в окне не стало видно мачехиной головы, и, тихонько переступая босыми, потрескавшимися ногами, попятился в тень кустов.

Словно сожалая Кирилке и ободряя его, к нему тянулись, чуть-чуть покачиваясь, распускавшиеся в тяжелые, гроздя цветов ветви черемухи, и ласково-трепетно поблескивала на солнце твердая чеканная листва тополей.

Но через минуту из окна снова высунулась голова мачехи, по подоконнику застучала облепленная тестом скалка, и Кирилка виновато поплелся из палисадника.

В надежде найти заступника, который укрыв бы его от мачехиного гнева, Кирилка зорко-выжидательно оглядывался по сторонам. Но на улице никого не было. Было позднее утро, и все уже разъехались по пашням.

У калитки Кирилка остановился, снова растерянно подернул сползавшие штанишки и еще раз, плаксиво морща нос, огляделся кругом. Но везде было пусто и

тихо. Даже собаки как будто попрятались куда-то. Заглянул в ограду — тихо и будто враждебно все. Старый обомшелый амбар выжидающе-сердито нахмурился и вот-вот забранится, как только Кирилка перешагнет ограду. А у низенькой, ушедшей в землю погребушки косая дверь злобно гримасничает и нависшая с крыши желтая осока будто шевелится — как есть мачехины брови...

Где-то на задворках голосисто, нарастающе, заростилась курица, в соседской ограде кто-то звякнул у колодца бадьей, и Кирилка почувствовал, что он уже не один на один с мачехой и если заревет — его услышат. И торопливо, чтобы снова не наступила тишина, шмыгнул на крыльцо, стуча по ступенькам твердыми пятками.

Мачеха стояла в избе спиной к окнам, и лицо ее после яркого солнечного света Кирилке не было видно. Он видел только черные, резко обрисовавшиеся на свету концы платка, острыми углами торчавшие к потолку, и по тому, как они вздрагивали над круглой головой, догадывался, что мачеха сердится пуще прежнего. И не слышал, а чувствовал летевшие к порогу шипящие слова:

— Спрятаться хотел?! У-у, чертовы выгонки!.. Только того и глядишь, как бы отлытать... погоди уж! Я те вот!..

Стоя у порога, Кирилка закрыл глаза и уже заранее чувствовал на себе удар твердой скалки. Ждал ударов, как неизбежного и неотвратимого, и мысленно даже торопил мачеху, чтобы скорее пережить это неизбежное. Но мачеха необычно медлила и почему-то долго не била Кирилку.

Стукнув о стол скалкой, она ушла в горницу, и слышно было, как хлопнула там крышка сундука.

— Поди сюда! Поди, тебе говорят! — послышалось из горницы, и Кирилке показалось, что мачеха как будто уже меньше сердится. И еще больше удивился, когда она, сунув ему в руки красный платок, уже без ругани говорила:

— Вот... На вот... Поди, сбегай к Дарье Васильевне. Скажи, мать просила, мол, чаю фамильного закладки на две... Чуешь?! Чаю фамильного в платок она отсыплет тебе. Да смотри у меня, не просып! Смотри под ноги-то, верхогляд полоротый! Крепче держи платок-то. А ежели просыплешь, не показывайся и домой!

Дарья Васильевна была крестной Кирилки, и он знал дорогу к ее дому. Но на пути было много опасных мест: злые собаки дяди Трофима, всегда лежавшие у ворот и караулившие прохожих; топкая лужа в Маленочковом проулке, где тонули даже лошади и коровы; а в конце этого проулка стояла Аполитова кузница, из которой Аполитка пугал ребятишек раскаленным железным прутом. Все это заставляло Кирилку много думать, много бояться, и поручение мачехи, строгий наказ ее он уловил вскользь, вполуха.

И чтобы не забыть, зачем он послан, Кирилка, спускаясь с крыльца, повторял про себя шепотком:

— Чаю, платок. Чаю, платок... Платок, чаю!

Горячее солнце золотом облило льяные Кирилкины вихры, ласково брызнуло в лицо и тепло-любовно охватило всю его маленькую фигурку. И уже не было страха перед мачехиным гневом; забылись опасности на пути. Вприпрыжку бежал он меж огородов, поминутно откидывая со лба мешавшую смотреть льяную прядь спутанных волос, и глаза его уже радостно поблескивали ясною синью.

— Чаю, платок!.. Чаю, чаю!

Кирилка благополучно миновал Аполитову кузницу, в проулке мелькнули расписные решетчатые окна крестниного дома, и он уже посчитал было себя в безопасности. Но из-за огорода неожиданно вывернулся рыжий печник, всегда пьяный, еще более страшный для ребятишек, чем кузнец Аполитка. Он славился умением класть необыкновенно жаркие печи, и, должно быть, за это его прозвали — Жар. Весь он был какой-то огненный, со скатанной в длинные жгуты рыжей бородой, с лохматыми космами на непокрытой голове, корявый, с бугристым, что поджаренным лицом.

Увидев Кирилку, Жар остановился, округлил красные, слезящиеся глаза и свирепо зарычал:

— Ага! Вот я те в брюхе и сварю!

Кирилка был уверен, что Жар и в самом деле может варить ребятишек в брюхе, и страх жгучей волной прихлынул к груди и снова до боли сжал сердце. Он смотрел синими немигающими глазами на Жарово брюхо, плотно обтянутое лоснящейся пестрядиной рубахой, и не мог сдвинуться с места.

А Жар расставил ноги, наклонил голову, как будто собираясь боднуть Кирилку, и уже совсем страшным голосом рывкнул: — В брюхе сварю!

— Ы-ы-и! — взвизгнул Кирилка и, ничего не видя, понесся по проулку, едва касаясь земли.

В доме Дарьи Васильевны помещалась земская квартира, и во дворе у нее всегда былолюдно и шумно. Всегда ругались ямщики, кричали на лошадей, звенели дугами с колокольцами, выкатывали изпод навеса дребезжащие ходки. Но на этот раз, когда Кирилка вбежал во двор, там стояла какая-то настороженная тишина.

У крыльца смиренно стояла тройка лошадей, запряженная в тарантас, и лишь изредка, словно украдкой, тихонько звякал колокольчик, когда задремавший коренник сонно вскидывал головой, представляя ноги. К тарантасу прислонился ямщик Игнатка и держал в одной руке вожжи, а в другой шапку. Ближе к крыльцу, точно не решаясь — войти ли ему, или еще подождать, — остановился и растерянно мял в руках шапку староста Иван Степаныч; на груди у него поблескивала медная медалька.

Кирилка, запыхавшийся, все еще чувствующий позади себя страшного Жара, окинул все это одним беглым взглядом и уже собирался было шмыгнуть на крыльцо, но староста Иван Степаныч схватил его сзади за рубаху и сердито, и вместе с тем как-то боязливо, зашептал:

— Куда это ты, постреленок?! Куда?!

— К хресне я... пусти-и!

В это время наверху хлопнула дверь, и староста выпустил Кирилку в рубаху. На крыльце показался не виданный Кирилкой человек. Все на нем так и блестело на солнце — плечи, грудь, и — на лбу звезда... Широко расставив ноги и опираясь руками о косяки двери, он загородил собой вход и что-то резко и громко закричал ямщику.

Очевидно, незнакомый человек ругался, на кого-то сердился. Но он нисколько не походил на Кирилкину мачеху и как будто даже не замечал его, и Кирилка тихонько, ступенька на ступеньку, взобрался на крыльцо. Постоял, рассматривая блестящие сапоги, потом легонько дотронулся до широких синих штанов незнакомого, пробую протиснуться в сени. Но нога стояла твердо и не пропускала Кирилку.

— Дяденька, пусти... а?! Право, пусти! — тихонько попросил он. Но незнакомый продолжал ругаться и упорно не хотел замечать Кирилку. Тогда он нырнул между ног незнакомого, и в тот же момент почувствовал себя крепко сжатым с боков, а потом блестящие сапоги чем-то звякнули и Кирилку сзади толкнуло что-то острое.

И — ничего; даже не обернулся незнакомый.

Дверь из сеней в горницу была открыта, и Кирилка, чтобы скорее попасть к крестной, не стал подниматься на ноги и, стуча коленками, полз по полу, пока его не подхватила за руку Дарья Васильевна.

Приотворив дверь, она приглушенно зашептала, будто боясь разбудить кого-то:

— Да что ты, пострел те возьми, — что это ты наделал! Ведь ты барина чуть не столкнул, дикошарый!..

— Мама велела дать полон платок чаю! — заявил Кирилка.

— Чаю? Полон платок?!..

— Фамильного, — добавил Кирилка громко.

— Ш-ш-ш! Постерли-те совсем! — и Дарья Васильевна замахала на Кирилку руками, опасливо оглядываясь на дверь. И все что-то мешкала — как будто не хотела дать чаю.

Кирилка собирался уже было зареветь, но на ограде зазвенели колокольцы, и Дарья Васильевна перестала прислушиваться.

— Н-ну, слава богу, уехал! Чаю, говоришь? Полон платок? Да куда ей это столько? У меня у самой мало... — говорила Дарья Васильевна, но все же открыла сундук и достала красный бумажный фунтик.

— Вот половину дам. Скажи, пополам-де разделила. Не просыпь, смотри. На!

— Хрѣсна, а тамо-ка Жар! Боюсь я...

— Где Жар?

— Тамо-ка, в проулке. Сварить меня хочет... в брюхе, грит!

— Нету его теперь. Иди, не бойся. Он так это... Беги со Христом! Гляди, не развязался бы платок-то...

Жара в проулке уже не было, и Кирилка снова замелькал меж огородов, смело скидывая льяными вихрами.

Привскакивая с ноги на ногу, он все думал о невиданном человеке, что стоял на крыльце.

— Ишь ты, сердитый, а не побил... как

будто и не видит! Добрый, должно. Не то что Жар...

Среди этих мыслей мелькало еще что-то досадное, беспокойное, но что это такое — Кирилка не мог припомнить. Слишком уж много было сегодня впечатлений...

Да и кузница вон близко... Опять этот Аполитка...

Но Аполитка стучал молотом по наковальне, и ему было не до Кирилки.

А беспокойная мысль о чем-то забытом все возвращалась и мешала глядеть на воробьев, на синичек, что так забавно кивают хвостиками, перелетая с кома на ком...

И только подходя к своей ограде, Кирилка вспомнил, что мачеха велела ему попросить у крестной чаю закладки на две, а он нес почти полон платок...

Вспомнив это, Кирилка почувствовал, как что-то холодное подкатилось к затылку, потом толкнуло в сердце и снова сжало его тоскливою болью. Он как бы перед ударом закрыл глаза, и в памяти быстро замелькало знакомое. Мачеха в черной шешмуре, с ухватом в руках; у ворот отец с возами сена; разбежавшиеся по гумнам овцы... Она была тогда Кирилку до тех пор, пока рубашка на нем не превратилась в клочья... Но когда заметила отца, подъехавшего к воротам с возами сена, сорвала с него изорванную рубашку и надела новую.

И теперь, когда с ним случилась еще большая беда, чем разбежавшиеся овцы, Кирилка понял, что будет неминуемо и сильно избит. А отца не было дома...

Мелькнула мысль — отсыпать чаю в канаву, и принести мачехи закладки на две... Но как это сделать незаметно? Куда отсыпать, чтобы не нашли?.. И решил пробраться тихонько в палисадник и отсыпать лишний чай где-нибудь там.

В палисаднике Кирилка прислушался и, взобравшись на завалинку, осторожно заглянул в окно. В избе было тихо; только мухи жужжали над столом, все еще покрытым мукой и остатками теста.

— Нету! — решил Кирилка, вздохнул и стал копать ямку под черемухой.

Когда он развязывал уже платок, чтобы отсыпать чай, за пряслом послышались голоса. Кирилка притих.

— Полон, говорит, платок давай да и только! — узнал Кирилка голос крестной.

Мачеха что-то сказала и весело, раскатиисто засмеялась.

— И где он, варначонок, шляется только! Не потерял бы на грех чай-то, — заворчала было мачеха, но ее перебила красная.

— Нет, только подумать, матушка Настасья Ивановна! Прямо это заседателю-то промеж ног! Думала — беда. Злой он был, с утра все ругался. То неладно, другое неладно, а тут еще постреленок этот. Ну да пронес бог — уехал... Надо же так напрокудить!

И обе они снова раскатисто засмеялись.

Кирилка почувствовал, что беда миновала, и, просунув руку сквозь ветви черемухи, поставил платок с чаем напоказ.

— Вот он, чай-то! Вот, целый весь! — звонко закричал он, и синие глаза его радостно, с затаенной тревогой сверкнули на солнце.

И над головой его снова ласково-ободряюще качались ветви черемухи и, точно смеясь над Кирилкиными страхами, трепетала твердая, сверкающая на солнце листва тополей...

КИРИЛКИНА ЛЮБОВЬ

Кирилке шел уже тринадцатый год, когда он по весне окончил приходскую школу и на следующую зиму, в филипповки, получил свидетельство с золотым ободком. Он стал считать себя взрослым мужиком, без которого в хозяйстве не обойтись. Но на дворе нечего было делать; зима стояла студеная, вьюжливая, и мачеха, как назло, больно бередила Кирилкино самолюбие, заставляя сидеть в тепле и прясть на полотах грязную и липкую овечью шерсть, пахнущую чем-то кислым.

Это бабье дело было ненавистно Кирилке, оскорбляло его до слез, и он, краснея от стыда и злости, прятался на полотах в дальний угол, когда приходил кто-нибудь из соседей. Особенно боялся он уронить себя в глазах соседской Феонки, которая училась вместе с ним и, бойкая, с задорно раздувающимися ноздрями, всегда была склонна зло высмеять парня, попавшего в неловкое положение...

Но вскоре в судьбе Кирилки произошел крутой поворот, навсегда оторвавший его от ненавистной и стыдной для него прялки. Из дальней деревни, Бело-

зерья, приехал дядя Егор, материн брат, и надолго увез Кирилку из села.

Кроме почетного положения в роли гостя, Кирилке улыбалось еще более почетное положение — в роли учителя: у дяди Егора подрос сынишка, и пора было учить его грамоте, а в Белозерье не было школы. Тут уж было не до обидной прялки. Словно сознавая свою неуместность, она как-то сама собой схоронилась в темном углу и лишь робко, виновато выглядывала с полатей нелепо торчавшим вверх замызганным копылком.

Предложение дяди Егора сразу подняло Кирилку в собственных глазах. Он старался медленнее выговаривать слова и озабоченно хмурил тонкие, едва намечавшиеся брови, мерно, не торопясь, шаггал по горнице; деланно-рассеянным движением откидывал со лба вихрастые пряди волос, отливавшие отблеском горного льна.

В новой черненой шадринской шубке, опушенной по борту котиком, с гарусной вышивкой на груди, подпоясанный ярко-зеленой гарусной же опояской, в пушистой вухохоловой шапке, — Кирилка выглядел празднично и чувствовал себя не то женихом, не то рекрутом, которого родные провожают на чужую сторону, на тяжелую цареву службу... И к горделивому чувству, к пьянящему сознанию своей возмужалости примешивалось сладостно-грустное, до сих пор незнакомое ощущение разлуки. Он избегал смотреть в глаза Марьи, старшей сестры, заменившей ему мать, и, оттакаявая узелки с гостинцами, деловито укладывал в сумку школьные книжки — это было самое важное и необходимое. К тому же нужно быть твердым, серьезным, чтобы не показаться смешным или неспособным выполнить то важное, что ожидали от него.

Но как ни крепился Кирилка, как ни старался предотвратить опасные моменты, без огорчения все-таки не обошлось.

На беду забегала с каким-то выдуманым заделем Феонка, и как раз в ту минуту, когда Кирилку, поверх щегольской шубки, кутали на дорогу в длиннополый, неуклюжий отцовский тулуп. Она обидно прыснула в ладонь и, щелкая на белых зубах жваком, пристыдила Кирилку:

— Ну и суслон! Чисто ты суслон теперь, Кирилко! А ишло учитель... Ха!

Кирилка, швырнув носом, строго стрельнул в Феонку косым взглядом за-

тененных воротником глаз, блеснувших темною синью.

Кирилка стал взрослым — он уезжал учительствовать...

* * *

Уже прошли азбуку, и восьмилетний Степка, двоюродный брат своего учителя, звонко выкрикивал склады.

Кирилка стал важным человеком в доме дяди: с ним разговаривали, как со взрослым, о серьезном, о хозяйственном, о приближающихся святках.

Все было ново для Кирилки — и его важное положение, и Белозерье, большая лесная деревня, полукругом облегающая огромное озеро, сверкающее под солнцем снеговыми суметами, и самые люди, не похожие на Кирилкиных родичей. Как будто он никогда не был маленьким и они всегда знали его таким — взрослым, учителем... И соседские девчонки не скалили на него зубы, как Феонка, а сами, застенчивые, несмелые, точно стыдились его.

Кирилке самому стало казаться странным его несмелое поведение с Феонкой, такой незначительной, ничего не понимающей в жизни взрослых, ветреной и даже глуповатой на теперешний взгляд. Кирилка был уверен, что срежет ее теперь одним словом, одной своей осанкой взрослого. Это так просто и легко, и даже обидно становится, что он раньше почему-то не догадался об этом.

По вечерам все чаще говорили о святках, об игрищах, шиликунах, и тетка уже готовила творог для сырчиков к рождеству.

Дядя Егор, довольный учебой Степки, говорил:

— Пора и отдохнуть. Грамота — она что камень глотать — достается тоже... Погуляете вот ужю на святках. Гляди, и высмотришь на игрище-то себе невесту. Все равно не отпустим тебя так из Белозерья...

Кирилка снисходительно, в тон дяде, улыбался слегка и, отгоняя несерьезное, допустимое лишь в шутку, озабоченно откидывал спускавшуюся на лоб золотисто-льняную прядь, отбирал у Степки грифель и старательно исправлял ошибки ученика.

— Хлеб, хлев... эти слова всегда пишутся через ять, а ты что написал?

Опять забыл?! Надо внимательно. Вот так...

Скрипел, взвизгивая, грифель, а над черной дощечкой близко склонялись две пытливые детские головки, вихрастые, облитые светом висячей лампы с жестяным кругом. Шуршали в щелях тараканы, любопытно высовывая вздрагивающие усики. Мягко шелестели измятые страницы учебника. Звенел детский, по складам читающий голосок. Порой глухо-отрывисто ударял в угол горницы клящий мороз, рвавший под тонким, обтопанным снегом землю.

Тихо, усыпляюще журчало веретено тетки. Всплывали слова дяди, вскользь оброненные, о высматривании невест, и Кирилке, меж Степкиными каракулями, расплывчато колеблясь, уже мерещилась нежно-белый овал Анюткиного личика, как льняными семечками, усеянного мелкими веснушками. А порой, когда Кирилка надолго раздумывался об Анютке, голос Степки звенел Анюткиным застенчивым смехом, и он сам улыбался ответно.

Анютка часто забегала к дяде Егору и, стоя у притолоки, украдкой косила в сторону «учителя» широко расставленные, с удлинненным разрезом глаза, поблескивавшие такой же лучистой просинью, как у самого Кирилки. Кирилка ловил этот взгляд, и сердце, переполненное гордостью, начинало быстрее стучать и отчего-то сладостно-больно сжиматься.

Высокая не по летам, но тоненькая, с худенькими покатыми плечами, Анютка казалась Кирилке краше всех на свете, и самая худоба ее, ее застенчивость и робость как будто просили приглубить ее сильной рукой, защитить от чего-то...

Одно только злило и глубоко оскорбляло Кирилку — это прозвище Анюткиного отца — Галаня...

— Галанина Анютка! Эх, ты, Галаня! — обидно скаля зубы, дразнили ее ребяташки.

Кирилка не понимал этого слова, но оно до обидной жалости роняло Анютку, как будто пачкало чем-то ее чистое личико, и чувство возмущения выдавливало слезы на синих Кирилкиных глазах.

Засыпая с этими тихими, скрытыми от всех слезами, Кирилка твердо решил, когда станет совсем большим, жестоко отомстить зубоскалам и увести Анютку, когда они будут женихом и невестой, далеко-далеко от Белозерья, чтобы обидное прозвище отстало, забылось навсегда.

Чинно, в разговении прошел первый рождественский день, неожиданно показавшийся длинным и скучным. Все получалось как-то не так, как ожидалось...

Но на другой день просторная, устланная новыми половиками горница дяди Егора уже с утра наполнилась звонким гамом детских голосов, и в ней стало празднично светло, не по-вчерашнему, когда под темной божницей долго струился кадильный дым, семья перед разговором долго молилась и в чуткой, по благочестивому настороженной тишине нельзя было смеяться. Сегодня и солнце как будто ярче золотило морозное кружево на окнах, ласково искристо усмеялась, и самый воздух напоен был чем-то пьянящим.

Сегодня в горнице дяди Егора собиралось малое игрище, созванное в честь Кирилки, почетного гостя...

Звучно расщелкивая орехи и грызя мерзлые сырчики, подростки степенно рассаживались по широкому, свежескобленному сосновым лавкам, хрустели новым ситцем рубашек и ждали «начала», которое должна была положить хозяйка игрища, Степанкова сестра Катя. Она должна была выбрать подругу и, взявшись с ней за руки, ходить по горнице и петь про «удала добра молодца», пленившего девичье сердце. Песня заканчивалась припевом о поцелуе «во сахарные уста», и пары, установившись у притолоки, должны были исполнять это веление.

Катя положила начало, и в горнице зазвенело переливчато:

Уж я золотце хороно, хороно!
Чисто серебро в терему, в терему.

И когда пары, быстро переступая, как бы стараясь перегнать темп песни, уже мелькали взад и вперед, Анютка застенчиво проскользнула в дверь и замешалась в цветнике праздничных сарафанов.

У Кирилки остановилось сердце: он еще никогда не представлял ее себе такой красивой, будто оваянной чем-то недоступным, слишком ярким. На узенькой груди ее, спускаясь с прозрачно-белой шейки на вышитую рубашку, искристыми блестками сверкал двойной ряд бисера, и Кирилке становилось завидно, что би-

сер этот так близко, бережно-любовно приникает к Анютке. И в ту же минуту он боязливо подумал еще: ведь этот слепящий блеск, который исходит от Анютки, вдруг заметят и другие, и тогда, может быть, синие глаза ее уже не станут косить только в его, Кирилкину, сторону...

Анютку вывели «по горнице ходить», и была ее очередь выбирать «удала добра молодца». Кирилка замер и уже не деланно-рассеянно, а незаметно для себя откидывал с вспотевшего лба золотистую вихрастую прядь.

И когда Анютка подошла к нему и, не глядя, протянула руку, Кирилка вдруг постыдно оробел и, краснея до острого жжения в верхушках ушей, растерянно перебирал кисти голубого праздничного пояса.

Но не менее Кирилки оробела и Анютка, пристыженная долгим стояньем перед удалым добрым молодцем, она теребила нитку бисера, и когда Кирилка, злясь на себя, порывисто схватил ее руку и неловко повернул к двери, где надо было целоваться, — бисер дробно рассыпался по половикам и произошло что-то до того стыдное, что в Кирилкиных глазах потмнело и кругом пошла горница.

Зазвенел смех, и послышалось до боли обидное:

— Ах, ты-ы! Галая-а-а! И тут просыпалась...

— Галая, Галая... Галаненок рябой! — галдели сзади ребятишки.

Но Кирилка видел только бледное, ставшее несчастным личико Анютки и беспомощно полураскрытые губки, алевшие расплывчатым колеблющимся пятном. Он обвил тонкую Анюткину шею и, притиснув русую головку к притолоке, прижался своими пересохшими губами к мягко подавшемуся алому рту и давил до тех пор, пока не почувствовал освежающий холодок чистых Анюткиных зубов.

И когда оторвался, почувствовал себя уже совсем взрослым, не боящимся никаких насмешек, что давеча конфузили его чуть не до слез, почувствовал, что Анютке тоже нечего теперь конфузиться и робеть и она вовсе не такая уж жалкая, чтобы теряться только оттого, что у нее рассыпался бисер.

У Кирилки словно росли за плечами крылья, и, краснея уже до новых бодрящих чувств, он молодецки пристукнул

подковкой щегольского сапога со скрипом, повернувшись от притолоки.

Игрище разгоралось, и досадный случай с Анюткиным бисером скоро забывался. Кирилка уже не чувствовал неловкости и свободно ходил по горнице, крепко, по-молодецки сжимая Анюткину ручонку.

Он уже видел себя женихом Анютки, и в святочных песнях слышал торжественные церковные напевы венчальные...

Анютка покорно-доверчиво прикивала к Кирилке, когда он, следуя велению песни, становил ее у притолоки, чтобы выполнить поцелуйный обряд. Углом глаза он видел, как темнеют, поблескивая синью, Анюткины широко расставленные глаза, и твердо был уверен, что Анютка теперь ни на кого уже не променяет его, ни на кого уже не взглянет таким лучисто-синим взглядом, за который можно отдать полжизни.

Но вечером, когда в горницу уже влиялся ранний зимний сумрак, Кирилка все же спросил тихонько Анютку, заранее зная ее ответ:

— Люб я тебе или нет? Анюта?

— Ши-ибко, Кирюша! — шепнула Анютка и облила его искрящимся взглядом, лучисто блеснувшим уже не по-детски.

И с каждым часом рос Кирилка, и казалось ему, не было на свете человека счастливее его.

* * *

Хмельными днями, как во сне, промелькнули святки, и как-то совсем неожиданно наступили послекрещенские будни.

Снова заскрипел грифель, зашелестели страницы учебников. Но уже в тягость была книжная учеба. Солнечные блики на гладкой клеенке стола больно резали глаз, и в жарко натопленной горнице, пахнущей мятой, зевалось истомно; разливалась по телу предвесенняя лень, и книжка становилась все более чуждой.

И так же неожиданно, как неожиданно наступили серые будни, кончилось Кирюшкино счастье.

Возвращаясь из города, Кирюшкин отец заехал в Белозерье и просто сказал:

— Погостил, да и будет! Пора и честь знать. От дома-то отбиваться тоже не след. Да и писарь вои наш навевывался: почерк, говорит, у твоего сына-то хорош, не отдашь ли привыкать в волость, пока что. В писари, значит.

Ясны и понятны были отцовские слова, но Кирюшка долго не мог определить — что в них такого страшного и отчего эти простые слова жгучей тоской сжали вдруг заколотившееся сердце?..

Но Кирюшка был большой, и пуще всего боялся потерять мужество и показать это постороннему взгляду.

И, сердито сопя, он деланно-заботливо укладывал свои книжки, ставшие почти ненавистными.

В полдень, когда яркое солнце алмазными искрами сверкало на блестяще-белом снегу, Кирюшка уехал из Белозерья, окруженного застывшими под тяжелым слоем куржака лесами.

Впереди стлалась однообразная, казавшаяся бескрайною, снежная равнина, задернутая на горизонте белесой морозной мглой...

«Первое горе» печатается по автографу, вероятно 1919—1920 гг.; «Кирилкина беда» — по тексту, опубликованному в газете «Жизнь Алтая», 1916, 10/IV, с правкой автора; «Кирилкина любовь» — по тексту в газете культурно-просветительного союза Алтайского края за 1919 г. (название газеты пока установить не удалось).